

1

Прыгнув как-то в самый полдень на товарняк из Лос-Анджелеса в конце сентября 1955 года, я тут же забрался в угол полувагона и улегся, подложив вещмешок под голову, закинув ногу на ногу, созерцал проплывающие облака, а поезд катил на север, к Санта-Барбаре. Товарняк был местный, и я собирался переночевать в Санта-Барбаре на пляже, а на следующее утро поймать еще один местный до Сан-Луис-Обиспо либо в семь вечера сесть на первоклассный состав до самого Сан-Франциско. Где-то возле Камарилло, где Чарли Паркер сначала свихнулся, а потом отдохнул и снова поправился², в мою люльку влез пожилой и тощий бродяжка — мы как раз съезжали на боковую ветку, пропуская встречный, и мужичок, кажется, удивился, обнаружив меня внутри. Сам он устроился в другом конце люльки: улегся лицом ко мне, положив голову на свою жалкую котомку, и ничего не сказал. Вскорости дали свисток, главная магистраль освободилась — там пронесся восточный грузовой, — и мы тронулись; холодало, и с моря в теплые береговые долины потянуло туманом. Мы с бродяжкой после безуспешных попыток согреться, кутаясь в тряпье на стальном полу вагона, поднялись и забегали взад-вперед по углам, подпры-

гивая и хлопая себя по бокам. Вскоре заехали еще на одну ветку в каком-то пристанционном городишке, и я прикинул, что мне без пузыря «токайского» не скоротать в сумерках холодный перегон до Санта-Барбары.

— Посмотришь тут за моим мешком, пока я сгоняю за бутылкой?

— Ну дак.

Я перемахнул через борт и сбегал на ту сторону Сто первого шоссе к магазину, где кроме вина купил хлеба и конфет. Бегом вернулся к составу, и ждать пришлось еще четверть часа, хоть на солнышке и потеплело. Но день клонился к вечеру, и мы бы все равно замерзли. Бродяжка сидел по-турецки у себя в углу перед убогой трапезой — банкой сардин. Мне стало его жалко, я подошел и сказал:

— Как по части винца — согреться, а? Может, хлеба с сыром хочешь к сардинам?

— Ну дак. — Он говорил издали, из глубины кроткого ящичка голоса боялся или не желал утверждать себя. Сыр я купил три дня назад в Мехико перед долгой поездкой на дешевом автобусе через Сакатекас, Дуранго, Чиуауа, две тысячи долгих миль к границе у Эль-Пасо. Бродяжка ел хлеб с сыром и пил вино — со вкусом и благодарностью. Я был доволен. Вспомнил строку из Алмазной сутры: «Будь милостив, не держи в уме никаких понятий о милости, ибо милость все-таки — просто слово»³. В те дни я был очень благочестив и выполнял все религиозные обряды почти в совершенстве. Хотя с тех пор и начал несколько лицемерить в словоизлияниях, слегка устал и зачерствел. Ведь я уже так постарел и остыл... А тогда и впрямь верил в милосердие, добро, смире-

ние, пыл, нейтральное спокойствие, мудрость и иступление, да и в то, что сам я — эдакий стародавний бхикку⁴, только одет по-современному, скитаюсь по миру (обычно — по огромной треугольной дуге между Нью-Йорком, Мехико и Сан-Франциско), дабы повернуть колесо Истинного Смысла, или Дхармы⁵, и заслужить себе положение будущего Будды (Пробудителя)⁶ и будущего Героя в Раю. Я пока еще не встретил Джафи Райдера — встречу его на следующей неделе — и ничего не слышал о «Бродягах Дхармы», хотя в то время сам уже был совершеннейшим Бродягой Дхармы и считал себя религиозным скитальцем. Бродяжка в нашей с ним люльке лишь подкрепил всю мою веру — потеплел от вина, разговорился и наконец извлек откуда-то крохотную полоску бумаги с записанной молитвой святой Терезы⁷, где говорилось, что после смерти она возвратится на землю дождем из роз с небес — навеки и для всего живого.

— Откуда у тебя это? — спросил я.

— Вырезал из журнала в читальном зале в Лос-Анджелесе пару лет назад. Теперь всегда с собой ношу.

— И что — вселяешься в товарный вагон и читаешь?

— Дак считай каждый день.

После этого он не особо много разговаривал, а про святую Терезу и вовсе не распространялся, очень скромно говорил о своей вере и почти ничего — о себе. На таких тихих тощих бродяжек мало кто обращает внимание даже на Сволочном ряду, уж не говоря про Главную улицу⁸. Если его сгоняет с места фараон, он тихо линяет, а если в больших городах по сортировке шныряют охранники, ког-

да оттуда выезжает товарняк, маловероятно, чтоб они засекали человека, который прячется в кустах и под шумок прыгает на поезд. Когда я сказал ему, что собираюсь следующей ночью поймать «молнию» — первоклассный скорый товарняк⁹, — он спросил:

— А, «ночной призрак»?

— Это ты так «молнию» зовешь?

— Ты, наверно, работал на этой дороге?

— Ага, тормозным кондуктором на ЮТ¹⁰.

— Ну а мы, бродяги, зовем его «ночной призрак», потому что как садишься в Л.-А., так никто тебя не видит аж до Сан-Франциско поутру, так быстро лётает.

— Восемьдесят миль в час на прямых перегонах, папаша.

— Ну да, только такая холодрыга ночью, коли гонишь по берегу к северу от Гавиоты и вокруг Серфа...

— Да, Серф, точно, а потом — горы южнее Маргариты...

— Маргариты, точно, я этим «ночным призраком» ездил стока, что, наверно, и не сосчитать.

— А ты сколько дома не был?

— Стока, наверно, что не сосчитаешь. Сам-то я из Огайо, вот откуда...

Но поезд тронулся, ветер похолодал, полез туман, и следующие полтора часа мы делали все, что было в наших силах и возможностях, чтоб не околеть да притом не слишком стучать зубами. Я весь съеживался и, чтобы забыть о холоде, медитировал на тепло, настоящее тепло Бога; потом подскакивал, хлопал по себе руками, топал и пел. У бродяжки же терпения было больше, и он в основном просто лежал, жуя

горькую жвачку в одиноких своих думах. Зубами я выстукивал дробь, губы посинели. К темноте мы с облегчением заметили, как проступают знакомые горы Санта-Барбары: скоро остановимся и согреемся в теплой звездной ночи у путей.

На разъезде, где мы оба спрыгнули, я попрощался с бродяжкой святой Терезы и пошел на песок ночевать, завернувшись в одеяла, — дальше по пляжу, у самого подножья утеса, чтоб легавые не увидели и не прогнали. На свежесрезанных и заточенных палочках над углями большого костра поджарил себе «горячих собак»¹¹, разогрел банку фасоли и банку макарон с сыром, выкопав ямки, выпил новоприобретенное вино и возликовал — такие приятные ночи в жизни выпадают редко. Побродил по воде и слегка окупался, постоял, глядя в сверкающее великолепие ночного неба, в десятичудесную вселенную Авалоки-тешвары с ее тьмой и алмазами¹². «Ну, Рей, — грю я, возрадовавшись, — ехать осталось несколько миль. Ты снова это сделал». Счастье. В одних плавках, босиком, диковласый, в красной тьме костра пою, тяну вино, плююсь, прыгаю, бегаю — вот как жить надо. Совсем один, свободный, в мягких песках пляжа рядом со вздохом моря, и фаллопиевы теплые звезды-девственницы Подмигивают Мамулей, отражаясь в водах жидкого брюха внешнего потока. А если консервные банки раскалились так, что невозможно взяться рукой, — берись старыми добрыми железнодорожными рукавицами, делов-то. Я дал еще немного остыть, чтоб еще чуть проташиться по вину и мыслям. Сидел по-турецки на песке и раздумывал о своей жизни. Ну вот — и что изменилось-то? «Что станет со мною дальше?» Затем вино принялось за

мои вкусовые сосочки, и совсем немного погодя уже пришлось наброситься на сосиски, скусывая их прямо с острия палочки, и хрум-хрум, и зарываться в обе вкуснющие банки старой походной ложкой, выуживая роскошные куски горячей фасоли со свиной или макарон в шкворчащем остром соусе и, может, чуток песка для приправы. «А сколько же у нас тут песчинок на пляже? — думаю себе я. — Ну-у, песчинок — сколько звезд на этом небе!» (хрум-хрум), а если так, то: «Сколько же человек здесь было, сколько вообще живого было здесь с до начала *меньшей* части безначального времени? Ой-ёй, я так полагаю, надо вычислить, сколько песчинок на пляже, и еще на каждой звезде в небесах, в каждом из десяти тысяч великих килокосмов¹³, и это будет столько песчинок, что исчислишь ни “Ай-би-эмом”, ни “Берроузом”¹⁴, ну елки-палки, да я и не знаю ей-бо (хлоп вина). Я в самом деле не знаю, но, должно быть, ковырнадцать триллионов секстильонов, обязыченное враздрыг и помноженное на черт-те сколько роз, что милая святая Тереза вместе с четким старичком вот в эту самую минуту вываливают те на голову с лилиями в придачу».

Затем с едой покончено, вытерев губы красной косынкой, я вымыл посуду в соленом море, раскидав несколько комков песка, побродил, вытер тарелки, убрал, сунул старую ложку обратно в просоленный мешок и улегся, завернувшись в одеяло, на добрый и праведный ночной отдых. Проснувшись где-то посреди ночи: «А? Где я, что это за баскетбольство вечности, в которое девчонки играют прям рядом со мной, в стареньком домишке моей жизни, а домишко еще не горит, а?» — но то лишь объединивший-

ся шелест волн, подобранных выше, чем ближе прилив к моему одеяльному ложу. «Я стану твердым и старым, как рапан», — и вновь засыпаю, и мне снится, что во сне я выдышиваю три ломтя хлеба... Ах, бедный разум человеческий, и одинокий человек один на бреге, и Бог глядит за ним с сосредоточенной, я бы сказал, улыбкой... И снился мне давний дом в Новой Англии, и мои «киткаты»¹⁵ пытаются догнать меня тысячи миль по дороге через Америку, и мама моя с мешком за спиною, и мой отец, бегущий за эфемерным неуловимым поездом, и я видел сей сон и проснулся на серой заре, узрел ее, понюхал (ибо заметил, как смещается весь горизонт, будто великий рабочий сцены поспешно вернул его на место, чтоб я поверил в его реальность) и снова уснул, перевернувшись на другой бок. «Все одно и то же», — услышал я собственный голос в пустоте, которую во сне объять можно, как нигде больше.

2

Бродяжка святой Терезы оказался первым подлинным Бродягой Дхармы, которого я встретил, а вторым стал Бродяга Дхармы Номер Один из них всех — Джафи Райдер, который это название и придумал. Джафи Райдер — пацан из Восточного Орегона, вырос в бревенчатой хижине в лесной глуши с отцом, матерью и сестрой, с самого начала — лесной мальчишка, лесоруб, фермер, любил животных и индейскую премудрость, поэтому когда не мытьем, так катаньем поступил наконец в колледж, оказался хорошо подготовлен к занятиям антропологией, потом — индейскими мифами, а также к изучению подлинных текстов индейской мифологии. В конце концов выучил китайский и японский, стал востоковедом и обнаружил величайших на свете Бродяг Дхармы — Безумцев Дзена из Китая и Японии. В то же время вырос он на Северо-Западе и обладал склонностью к идеализму, а потому заинтересовался старомодным ПРМ-овским¹⁶ анархизмом, научился играть на гитаре и петь старые рабочие песни, что шло рука об руку с его любовью к индейским песням и вообще интересом к фольклору. Впервые я увидел его на улице в Сан-Франциско на следующей неделе (стопом проехав остаток пути от Санта-Барбары

за один длинный молниеносный перегон, подаренный мне, все равно никто не поверит, прекрасной милашкой, молоденькой блондинкой в белоснежном купальнике без лямок, босиком, с золотым браслетом на лодыжке, она вела красно-коричневый «линкольн-меркурий» следующего года и хотела бензедрину, чтоб доехать до самого Города, а когда я сказал, что у меня в мешке найдется, она завопила: «Безумно!») — я увидел, как Джафи пылит по улице причудливыми длинными шагами человека, привыкшего лазить по горам, с рюкзачком за спиной, набитым книгами, зубными щетками и всякой ерундой, — то был его маленький «выходной» рюкзак «для города» в отличие от здоровенного рюкзака в комплекте со спальником, пончо и котелками. Носил он козлиную бородку, до странности ориентальный, если учесть его слегка раскосые зеленые глаза; но он совсем не походил на богему, он был далеко не богемой (то есть тусовщиком вокруг искусств). Он был жилистый, загорелый, бодрый, открытый, весь приветливый и готовый поболтать — вопил «привет» даже бродягам на улице, а когда у него что-нибудь спрашивали, отвечал без промедления то, что было у него на уме или под оным, уж и не знаю, где, но всегда — бойко и искристо.

— Где это ты встретил Рея Смита? — спросили у него, когда мы зашли в «Место», любимый бар всех хепаков на Пляже.

— О, я всегда встречаю своих Бодхисаттв на улице! — завопил он и заказал пива.

То была великая ночь, в очень многих отношениях — историческая ночь. С некоторыми другими поэтами они (а он к тому же писал стихи и переводил

китайскую и японскую поэзию на английский) должны были давать вечер в городской «Галерее Шесть»¹⁷. Все собирались в баре и надирались. Но пока собирались и рассаживались, я заметил, что Джафи там один не походил на поэта, хоть поэтом и был самым настоящим. Остальные были либо хеповыми интеллектуалами в роговых очках и с дикими черными волосами, вроде Альвы Гольдбука, либо бледными нежными красавчиками, вроде Айка О'Шея (в костюме), либо запредельно манерными итальянцами эпохи Возрождения, вроде Франсиса Дапавия (этот похож на молодого священника), либо длинноволосыми старперами-анархистами в галстуках-бабочках, вроде Рейнгольда Какоэтеса, либо толстыми, очкастыми и спокойными растяпами, вроде Воррена Коглина. Остальные же подающие надежды стояли вокруг в разнообразных прикидах — в вельветовых пиджаках, протертых на локтях, в сбитых башмаках, с книгами, торчавшими из карманов. А Джафи был в грубой рабочей одежде, купленной в магазине подержанного платья «Добрая воля»¹⁸; она служила ему и в горах, и в походах, и сидеть по ночам у костра, и ездить стопом взад и вперед по Побережью. На самом деле в рюкзачке у него была и смешная зеленая альпийская шляпа, которую он надевал, доходя до подножия горы — как правило, с йодлем, — перед тем как потопать на несколько тысяч футов вверх. На ногах — горные башмаки, дорогие, итальянские, его гордость и радость: в них он громыхал по опилочному полу бара, как некий допотопный дровосек. Джафи невелик — каких-то пять футов семь дюймов, — но силен, жилист, быстр и мускулист. Лицо его — горестная костяная маска, но глаза поблескивали, как

у старых улыбчивых китайских мудрецов, оттеняя грубость привлекательной физиономии с этой его бородашкой. Зубы у него побурели оттого, что в детстве в лесах он за ними не следил, но в глаза это не бросалось, хоть он и широко раскрывал рот, хохоча над какой-нибудь шуткой. Иногда Джафи затихал и лишь печально и сосредоточенно пялился в пол, словно его изводили заботы. Временами бывал весел. Он с большим сочувствием и интересом отнесся ко мне, к истории про бродяжку святой Терезы и к моим рассказам о скитаниях на поездах, стопом или по лесам. Тут же заявил, что я — великий Бодхисаттва, что означает «великое мудрое существо», или «великий мудрый ангел», и своей искренностью украшаю этот мир. Любимый буддийский святой у нас с ним тоже был один — Авалокитешвара, или, по-японски, Каннон Одиннадцатиглавая¹⁹. Джафи знал всякие подробности Махаяны, Хинаяны²⁰, тибетского, китайского, японского и даже бирманского буддизма, но я с самого начала предупредил, что на мифологию мне совершенно плевать, на все имена и национальные оттенки буддизма — тоже, а интересуется меня лишь первая из четырех благородных истин Шакьямуни: «Вся жизнь — страдание»²¹. И, до некоторой степени, третья: «Подавления страдания возможно достичь», — но в то время я еще не вполне верил, что это возможно. (Я еще не переварил Писание Ланкаватары²², которое рано или поздно показывает, что в мире нет ничего, кроме самого разума, поэтому возможно все, включая и подавление страдания.) Корешем Джафи был уже упомянутый добродушный и толстый увалень Воррен Коглин, сто восемьдесят фунтов поэтического мяса; Джафи рекламировал его